

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 9.

КОЖИНОВ И БАХТИН

(продолжение)

Было очевидно, что издать книгу Бахтина о Рабле невозможно без “реабилитации” самого имени исследователя. Самый надёжный путь был – переиздание “Проблем творчества Достоевского”. И Кожинов стал искать возможные пути подхода к “ответственным товарищам”.

В разговоре с заместителем главного редактора журнала “Знамя”, заведующим кафедрой Академии общественных наук, членом редколлегии “Вопросов литературы” и бывшим лагерником Борисом Леонтьевичем Сучковым Вадим Валерианович оперировал тем, что книга Бахтина вызовет восхищение во всём литературном мире. И нарвался на соответствующий ответ. Сучков отреагировал однозначно пренебрежительно:

– Да о чём Вы говорите! На Западе давным-давно написали о Достоевском интереснее и глубже, чем этот ваш Бахтин!

Кожинов онемел от подобной категоричности. В это время он усиленно внушал одному западному литературоведу необходимость издать в Европе именно сочинение Бахтина.

“Писал ли Вам итальянский литературовед Витторио Страда, который, как я слышал, хотел предложить Вам написать предисловие к полн<ому> собр<анию> Достоевского? В Италии сейчас такой высокий интерес и уважение к русской культуре, что было бы, по-моему, очень уместно, если бы Вы сделали нечто на основе Вашей замечательной книги...” (Из письма В. Кожинова М. Бахтину от 23 февраля 1961 года).

Имя Витторио Страда Кожинов ещё раньше мог слышать и от Эвальда Ильенкова, и от Бориса Слуцкого. Аспирант филологического факультета МГУ, член Итальянской коммунистической партии, тот уже был автором нескольких статей о советских писателях и своеобразным “соучастником” издания в Италии “Доктора Живаго” (именно он передал издателю Фельтринелли просьбу Пастернака игнорировать какие бы то ни было его телеграммы с требованиями остановить публикацию). Ильенков вполне мог рассказать Кожинову историю несостоявшегося в Италии издания своей книги “Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса”. Страда взял “для прочтения” машинописный экземпляр книги – и переслал в издательство. И в это же самое время грохнул скандал с изданием пастернаковского романа. Эвальда Васильевича заставили написать письмо с отказом от итальянского издания, а в Отечестве она была издана два года спустя.

В общем, Страда, гордо называвший себя “ревизионистом”, был, что называется, “отвязанный малый”, бравировавший своей свободой и с удовольствием “соучаствовавший” во всех скандальных историях, в каких мог. Кожиннову показалось, что сама судьба посылает ему иностранного авантюриста для участия в фундаментальной аванюре.

Вадим Валерианович услышал от Витторио, что в Италии планируется издание собрания сочинений Ф. М. Достоевского с приложением тома, включающего в себя несколько фундаментальных работ о классике. Страда стал называть имена Виктор Шкловского, Аркадия Долинина, Леонида Гроссмана... Тут Кожиннов и перебил его:

– Послушайте, Витторио, это всё книги не такие уж и значительные. Есть совершенно гениальная книга о Достоевском – Михаила Михайловича Бахтина. Вот какую книгу Вам следует издать прежде всего!

По реакции Страды он понял, что тот имя Бахтина слышит впервые. И – поддал жару:

– А не могли бы Вы оказать мне одну услугу?

– Что такое?..

– Я очень прошу Вас, когда Вы вернётесь в Италию, пришлите в агентство “Международная книга” письмо, свидетельствующее о желании вашего издательства опубликовать книгу Бахтина. Это, разумеется, ни к чему Вас не обязывает, но мне Вы окажете тем самым серьёзную услугу. Напишите к тому же, что, поскольку сам Михаил Михайлович Бахтин живёт в Саранске, то здесь, в Москве, его интересы представляет Вадим Валерианович Кожиннов, к которому Вы и просите обратиться для соответствующих переговоров.

Продвинуть издание Бахтина в Италии означало автоматически сдвинуть “недвижимую глыбу” в виде “Советского писателя” в СССР.

Страда написал Бахтину:

“В согласии с издательством я считаю целесообразным, чтобы предисловие этого, самого полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского принадлежало русскому литературоведу. Я хорошо знаю Вашу очень оригинальную и интересную книгу о творчестве Ф. М. Достоевского, и мне хотелось бы, чтобы эта книга была вступительным исследованием итальянского перевода сочинений Достоевского. Но надо было бы приспособить Вашу книгу для этой цели. Между прочим, и Вы, может быть, хотели бы ее немножко переработать”.

В ответном письме Бахтин назначил срок представления работы через четыре месяца, “так как моя книга потребует довольно значительной переработки и обновления”.

Так началась самая настоящая аванюра. Кожиннов задействовал “итальянский рычаг”, поскольку положение, поистине, обязывало.

Он уже посещал издательство “Советский писатель”, где беседовал со своим давним товарищем по аспирантуре Львом Шубиным – пришёл с книжкой Бахтина и со словами: “Вот, Лёва, совершенно гениальная книга, надо её издавать...” – И Шубин включился в борьбу за издание Бахтина.

Потому что это была именно борьба. Как потом вспоминал Кожиннов, “ситуация складывалась так, что напоминало битьё головой о камень... Я совершенно не знал о том, что директор издательства “Советский писатель” Лесючевский был очень тесно связан с Ленинградским ОГПУ и как раз тогда, когда Бахтина арестовали и судили. То ли он состоял в штате, то ли ещё как-то сотрудничал, но по крайней мере ему отлично были известны все обстоятельства дела Бахтина (и особенно то, что Бахтина тогда ещё не реабилитировали). Я глубоко убеждён, что Лесючевский ни в коем случае не хотел печатать книгу. Но, конечно, он не афишировал этого, действовал, как вообще действуют люди этого типа, незаметно, через аппарат...”

Необязательно было состоять “в штате”, чтобы исполнять обязанности “литературного консультанта” или “эксперта” и писать отзывы на стихи Николая Заболоцкого и Бориса Корнилова, чтобы поспособствовать лагерному заключению и ссылке для одного и смертному приговору для другого... Кожиннов в самом деле не ведал, что “Советский писатель” – последнее место, куда бы он мог обратиться с идеей “переиздать Бахтина”, но сразу же ощутил явное сопротивление... Тем более, что пришёл он в издательство не с пустыми руками.

Лев Шубин посоветовал ему написать соответствующее письмо с обоснованием необходимости издать книгу и собрать, по возможности, самые “громкие” подписи.

И Кожин начал действовать.

Для начала он нажал на Ермилова, который написал в правление “Советского писателя”, что считает крайне целесообразным переиздание книги Бахтина. Далее начался сбор подписей под письмом.

Первым был Леонид Петрович Гроссман, достаточно высоко (при всей дальнейшей полемике) оценённый Бахтиным ещё в книге 1929 года: “Л. П. Гроссмана нужно признать основоположником объективного и последовательного изучения поэтики Достоевского в нашем литературоведении”. Книгу Бахтина он, естественно, знал, тут же сказал, что очень высоко её ценит, и с радостью пригласил Вадима Валериановича к себе. Но когда увидел, что ни одной подписи под письмом ещё нет – вся его радость куда-то испарилась. Начались вопросы: “Кто Вы такой, откуда пришли?” – он словно подозревал визитёра в какой-то каверзе.

Кожин вышел из себя.

– Потому у нас так плохо всё и идёт, что как только дойдёт до дела, никто не хочет пошевелиться. Господствуют у нас разные негодяи, а люди только жалуются, как надо проявить хоть небольшую смелость – прячутся в кусты, не желают поддержать хоть одно благородное дело...

“Я даже не надеялся, что он подпишет, и поэтому просто решил излить душу, – вспоминал Кожин. – Но, представьте себе, это на него подействовало”.

Гроссман с интересом смотрел на дерзкого молодого человека. Кожин, почувствовав, что настроение у собеседника изменилось, решил его “добить” поистине нетривиальным ходом.

– Леонид Петрович, я всегда относился к Вам с восхищением. Не только из-за Ваших литературоведческих работ. Я прекрасно знаю Ваш “Венок сонетов о пушкинской плеяде”, который был издан в 1919 году в Одессе и стал сейчас библиографической редкостью. И там есть прекрасные стихи, – вот, например, заключительный сонет.

И начал читать:

*Был полдень жизни. Тени залегли
На обликах Петра и Дон-Жуана,
Напев Бахчисарайского фонтана
И чумный пир, смолкая, отошли.
Скончался Дельвиг. В пропасти земли
Ушёл Вильгельм из невского тумана,
И страсть кавалергардского шуана
Уже смутила сердце Натали.
Но он, ещё не чувствуя обиды,
Устав на буйных празднествах Киприды,
Был тих и прост. В покое зрелых сил,
Не веря в страсть, заздравных чаш не пеня,
Он терпкое вино сомненья пил
Из синих книжек мудрого Монтеня.*

“Как, Вы это помните?!” – Гроссман был совершенно покорён. Наверняка никто, ни один человек не помнил тогда этих стихов. А этот вдохновенный наглец...

А Кожин продолжал читать один сонет за другим.

И уже не возникало вопроса – откуда появился этот визитёр. Автограф на письме тут же был получен.

Следующим текст подписал Владимир Ермилов – уговаривать не пришлось. Постепенно текст обрастал нужными автографами – Виктора Владимировича Виноградова, Аркадия Семёновича Долинина (к нему Вадим специально съездил в Ленинград), Валерия Фёдоровича Кирпотина, Леонида Николаевича Тимофеева, Леонида Ефимовича Пинского... Добрался Кожин и до заместителя заведующего отдела культуры ЦК КПСС Бориса Сергеевича Рюрикова (у него только что вышла книга “Марксизм-ленинизм в литературе и искусстве”, и волей-неволей встаёт вопрос: знал ли он, что благословляет своей подписью выход книги, в которой не было ни грана талмудического “марксизма”?)... На очереди был Виктор Шкловский.

По телефону тот мгновенно дал своё согласие. Но когда Кожинов привёз ему текст письма и Шкловский, вперившись в него, увидел подпись Ермилова — то в возмущении замахал руками: у него уже успела выйти печатная стычка с Ермиловым, его литературным врагом ещё с 1930-х, который разнёс книгу “За и против” в “Коммунисте” — в статье “Против ложного истолкования Достоевского”. Шкловский, по мнению Ермилова, Достоевского неоправданно “революционизировал” (очевидно, в духе времени). Виктор Борисович ответил в “Вопросах литературы” полемической заметкой “Против”.

— Послушайте, это что же вы мне предлагаете?! Чтобы я подписался рядом с этим негодяем Ермиловым? Да ни за что!

Кожинов предвидел такую реакцию. И заготовил беспроегрешный ответ. Тем более, что на его глазах свою подпись, не говоря ни слова, поставил Долинин, по которому в своё время “катком” прошёлся тот же Ермилов.

— Виктор Борисович, Вы меня разочаровываете...

— В чём дело? — взвился Шкловский.

— Я вообще-то считал, что Вы — самый эксцентричный человек, проживающий на территории Союза Советских Социалистических Республик. Это же крайне оригинально, что Вы подписываетесь рядом с Ермиловым. Вам обязательно надо поставить свою подпись, ведь это Ваш стиль — удивлять других... Представьте, как это будет читаться: Вы — рядом с Ермиловым, своим злейшим врагом...

Приём сработал безукоризненно.

— А пожалуй, Вы правы, — произнёс Шкловский и подписал ходатайство. В нём, в частности, говорилось:

“Обращаясь в издательство, мы исходим из личных особенностей М. М. Бахтина (в настоящее время он руководит кафедрой в Мордовском государственном университете) — человека, который едва ли бы сам выступил с предложением о переиздании своей книги (в самом деле. — С. К.). Представляется необходимым, чтобы инициатива в этом вопросе исходила от издательства. Мы просим Правление издательства “Советский писатель” включить монографию М. М. Бахтина в план изданий 1962 года и известить об этом автора”.

Отнёс письмо Кожинов в “Советский писатель” и — успокоился. А через некоторое обнаружил, что ничего толком не движется. И пришёл к заведующей редакции критики и литературоведения Татьяне Конюховой.

— Почему нет никаких известий об издании книги Бахтина? У Вас же письмо с подписями лучших специалистов по Достоевскому, которые пишут о необходимости издания книги.

— О чём Вы говорите? Я ничего не помню. Какое письмо? Кто подписал? Когда подписал? — Конюхова не понимала (или сделала вид, что не понимает), о чём речь.

(Письма, как оказалось, она тогда и в глаза не видела. Получила его из рук Лесючевского лишь через полтора года, когда книга Бахтина уже готовилась к выходу).

Кожинов понял, что говорить не о чем. Единственный выход — как можно скорее предать письмо гласности. То есть напечатать его текст.

...А пока Кожинов регулярно писал Бахтину и получал ответные сердечные письма.

Из письма М. М. Бахтина от 3 мая 1961 года:

“Меня очень огорчает временная задержка с опубликованием Вашей работы (речь идёт о книге Кожинова “Происхождение романа”. — С. К.). Но, насколько мне известно, ни одна книга (даже “маститых”) не проходит гладко, и при этом всегда есть какая-нибудь подоплёка (того или иного рода). Убеждён, что Ваша книга не может не пробить себе дороги...”

Моё мнение о Вашей книге, конечно, самое искреннее. Я до сих пор ещё нахожусь под её обаянием. Что же касается до проблемы языка романа, то она, по существу, выходит за пределы поставленной Вами задачи.

Ваше письмо было для меня очень интересным и отрадным (с этим письмом, которое, к сожалению, не сохранилось, Кожинов послал Бахтину книгу Эвальда Ильенкова “Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса” и стихи Бориса Слуцкого. — С. К.). Всё, что Вы пишете о нашей молодой поэзии, живописи и эстетике, было для меня новым (я знал только немного поэзию Слуцкого, которого, кажется, недооценивал). Книгу Ильенкова

и “Вопросы эстетики” обязательно прочту, как только позволит время. Беда в том, что я перегружен всякой ненужностью, а для настоящего и серьёзного прочтения не осталось ни времени, ни сил.

Очень благодарен Вам за стихи Слуцкого. Я их читаю и перечитываю. Они очень сильные и очень мрачные. Во всяком случае, это настоящая поэзия. Но я их ещё не вполне “освоил”. Почти в каждом из стихотворений я ещё спотыкаюсь об отдельные слова и целые строки, которые, как мне кажется, ломают образ. Например, в совершенно изумительном стихотворении об онемевшем кино последние две строки как-то сужают образ и конкретизируют его не в том плане. Повторяю, я ещё не освоился с поэзией Слуцкого, но её поэтическая значительность для меня уже и теперь несомненна.

Вы пишете о своём интересе к моим работам. Но дело в том, что я долгие годы работал без определённых возможностей опубликования, поэтому у меня не было стимула придавать своим работам внешнюю законченность, упорядоченность и удобочитаемость, т. е. то, что обычно делается только тогда, когда работа готовится к печати. Поэтому, чтобы послать Вам что-нибудь, я должен проделать известную работу. И я непременно это сделаю (мне хочется послать Вам кое-что о языке романа), но только в каникулярное время.

Над предисловием к Достоевскому я ещё не начал работать. Да и вряд ли что-либо выйдет из этого дела: от Союза писателей, который должен оформить договор, до сих пор нет никаких известий. . .”

В это время, время борьбы за издание Бахтина, ожидания утверждения к выпуску “Происхождения романа” и работы над новыми теоретическими статьями, в жизни Кожина происходили и другие драматические перипетии. Уйдя от первой жены и связав свою жизнь с Еленой Ермиловой, он всё ещё ощущал себя в “промежуточном” положении, в состоянии внутреннего разрыва и, судя по всему, долго не мог успокоиться и войти в рабочую колею. Он съехал из ермиловской квартиры, снял себе комнату на улице Воровского рядом с ИМЛИ, о чём и сообщил Бахтину в письме от 7 июня.

“Дорогой Михаил Михайлович!

Простите за долгое молчание. . . Не писал я в силу очень веских причин. . . В моей жизни произошли всякие душещипательные и в то же время авантурные события. . . Результат, во всяком случае, ясен — у меня изменился адрес. . . Как говорил мне посетивший меня Л. Е. Пинский, я живу через дом от того дома, где жил В. Р. Гриб (литературовед и эстетик, печатавшийся в “Литературном критике” и умерший ещё до войны. — **С. К.**). Может быть, Вы бывали у него?

С большой радостью прочитал Ваше последнее письмо, в котором всё говорит о взаимопонимании, о внутренней душевной общности, — не в чисто личном смысле, конечно (на это я не смею претендовать), но в смысле серьёзного и ценного дела, которому хотелось бы отдать всю жизнь, чтобы тем самым взять от жизни действительно много. Не самоотвергаться, а утверждать себя.

Книжку мою о романе всё же утвердили к изданию — правда, с определёнными купюрами. К счастью, они (пока) не касаются принципиального существа концепции. Поскольку время ещё есть, я собираюсь кое-что переделать в духе Ваших замечаний (особенно относительно античной и средневековой прозы).

Между прочим, Ваше замечание о концовке стихотворения о немеющем кино я передал автору, и он с Вами согласился, обещав переделать. Вообще хочется сказать Вам, что многие люди здесь хорошо Вас знают и очень ценят. О Вашей книге о Достоевском только на днях я слышал поистине восторженные отзывы от В. Б. Шкловского, Л. П. Гроссмана и даже. . . М. Б. Храпченко, В. В. Ермилова, В. Я Кирпотина и др.

Хочется послать Вам несколько стихотворений поэта, которым я более всего увлечён в данный момент, — позднего Мандельштама. Может быть, Вы не знаете этих стихов. Тогда, мне кажется, они будут Вам интересны. . .”

Стихотворения Мандельштама тогда ходили по рукам, Кожин с упоением читал очаровавшие его “Воронежские тетради” и, естественно, не мог не поделиться радостью своего открытия.

Что касается “Происхождения романа”, то Вадим Валерианович, готовя книжную редакцию, не только вписывал усвоенное от Бахтина (“Слово в ро-

мане выступает не только как *средство* изображения, но и как *предмет* изображения), но прямо привёл цитату из бахтинского письма:

“На античной почве мы находим целую группу жанров, которую сами греки называли областью “*серьёзно-смешного*”... Само название звучит очень романно. В эту область древние относили ряд *средних жанров*: жанр сократического диалога, обширную литературу симпозионов, мемуарную литературу, “мениппову сатиру” и др. Сами древние отчётливо сознавали отличие этой области от эпоса, трагедии и комедии. Здесь вырабатывались особая (новая) зона построения художественного образа, зона контакта с незавершённой современностью (осознанный отказ от эпической и трагической дистанции) и новые типы профанного и фамильярного слова, по-особому относящегося к своему предмету. Здесь начинает формироваться и особый тип почти романного диалога, принципиально отличный от трагического и комического (такой диалог можно кончить, но не завершить, как незавершённые и люди, его ведущие).

Во многом опираясь на Бахтина, Кожин в “Происхождении романа” утверждал бессмертие романа, как жанра, ибо бессмертна жизнь, питающая роман. Отдельные фрагменты книги он опубликовал в “Литературной России” под заголовком “Гибель или возрождение? Проблема романа на Западе” в то время, когда в мире повсеместно звучали слова о кризисе, а то и конце романа. Разобрав сущность романов “эссеистского” и “эскапистского” типа в современном буржуазном мире, исследователь пришёл к непротивоположному выводу:

“Совершенное изображение, воссоздание человеческой жизни в романе вовсе не противоречит глубокому познанию этой жизни, проникновению в её внутренний смысл. Более того, живость, действенность, подлинно яркая образительность нераздельно связаны с богатством смысла, **прямо пропорциональны ему**... Подлинный художник творит не “как в жизни”, но “как жизнь”. Он словно покушается на монопольное право жизни создавать людей, события, вещи и дерзко создаёт их сам, — подражая жизни, но в то же время и соперничая с ней, опережая её, создавая таких людей, такие события, возможность рождения которых лишь **заложена** в жизни... Чтобы действительно “подражать” жизни, художник неизбежно должен быть мудрым, как сама жизнь, вобрать в себя её внутреннюю “осмысленность”, или, говоря заострённо, проникнув в “замысел” самой объективной жизни, порождающей все явления, художник способен “подражать” её творческой деятельности... Ценность и даже необходимость этого специфического освоения мира... — несомненна и непреходяща.

Вот на что покушаются ниспровергатели романа. Но их пророчества не могут смутить тех, кто видит целостное развитие современной литературы... Роман — слишком ценная и мощная форма искусства и человеческой культуры в целом, чтобы можно было вообще с ним расстаться... Именно поэтому он **возрождается** в каждую эпоху...”

И здесь Кожин перекидывает мостик уже к бахтинской книге “Рабле в истории реализма”. К его мысли о смерти, чреватой рождением.

* * *

16 июня 1961 года он получил новое письмо из Саранска. Писала жена Бахтина Елена Александровна.

“Дорогой Вадим Валерьянович!

Нам необходимо встретиться как можно скорее. Это нужно для Вас, для Мих. Мих. и для меня.

У нас в квартире настоящий ад, особенно теперь — после моей болезни. Однако мне кажется, что день-два можно просуществовать в любых условиях. Я зову Вас не в гости. Это зов моей души! Так нужно. Нужно скорее!

Потому посылаю письмо с оказией, чтобы не думалось, что Вы его почему-то не получили.

Телеграфируйте о дне своего приезда, номере поезда и вагоне, для того, чтобы можно было Вас встретить.

Е. Бахтина”.

Это письмо Кожинову передала приехавшая в Москву из Саранска историк Нина Григорьевна Куканова — она и её муж входили в круг ближайших друзей Бахтина.

“Застать Вадима Валериановича было невозможно, — вспоминала она, — и только в день отъезда мы наконец созвонились и договорились встретиться у станции метро “Кропоткинская” (тогда “Дворец съездов”). Передо мной стоял щупленький юноша, и мне показалось странным: почему Елена Александровна возлагает такие большие надежды именно на этого юношу...”

А “щупленький юноша” прочитал в послании самую настоящую мольбу о помощи. “Её просьба была связана с тем, — вспоминал он впоследствии, — что она тяжело заболела, боялась, что уже не выживет, умрёт, и видела во мне человека, которому она может, так сказать, с рук на руки сдать М. Бахтина. Она прекрасно знала о нашей переписке, как я к нему отношусь, с каким преклонением. Знала и то, что есть группа молодых людей, которые так же высоко его ценят...”

Что говорить! Положение это Кожинов оценил, как пиковое. Старый человек, пребывавший несколько десятилетий в забвении, нуждается сам (уже не его книги, а он сам!) в неотложной помощи. Видимо, его предстоит утешать, поддерживать, выводить из мрачного состояния, короче говоря, оказаться в роли духовного и душевного санитара... Вадим позвал с собой Сергея Бочарова и Георгия Гачева. И сподручнее действовать, и ехать вместе веселее.

“Мы ехали в плацкартном вагоне, — вспоминал Сергей Бочаров, — и я помню, что Вадим мерился силой в армрестлинг (тогда этого слова ещё никто не слышал. — **С. К.**) с солдатами, и один солдат его положил, на что Вадим очень обижался”.

... Всю ночь в поезде читали стихи. Кожинов одаривал своих друзей неопубликованным Мандельштамом:

*Вооружённый зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидетелься пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.*

*И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черногослым:
Я только в жизнь вливаюсь и люблю
Завидовать могучим хитрым осам.*

... Саранск. “Провинция и печать запустения”, — как писал Кожинов о тогдашнем городе.

Он сразу же отправился к Бахтину домой, а Бочаров и Гачев — по направлению к местному университету. Там, на тротуаре они и увидели Бахтина, опирающегося на костыль. Подъехала машина, патриарх сел в неё и исчез. Через некоторое время молодые люди также добрались до его дома.

Они трое сидели в небольшой комнате напротив человека, которому приехали оказывать скорую помощь. Они прибыли говорить — а сами сидели и слушали, боясь пропустить хотя бы слово. Перед ними был великан. Чудо отечественной истории. Выходец из Серебряного века, но он, казалось, вмещал в себя несколько мировых эпох. Такого они ещё не видели в своей жизни.

Бахтин говорил, говорил и непрерывно курил.

Это о н поднимал их. Это о н вселял в них абсолютную уверенность в нескончаемость бытия. Живая история вошла в их жизнь — и пространство её расширялось до горизонтов невообразимых. Кожинову он запомнился с той встречи, как человек абсолютно уравновешенного мышления — ничего похожего ни на пессимизм, ни на вульгарный оптимизм. И полное отсутствие столь привычной в том социуме, в котором жили до сих пор три друга, какой бы то ни было иерархичности. “Эти жуткие тридцать лет никак его не раздавили, он был абсолютно уверен в своём призвании, миссии, если хотите... И не было у него ни грана тщеславия, а у нас — ощущение полного равенства. К каждому человеку он обращался, как к самоценному и равному: “Ты еси!” (Кожинов).

(“... Ты еси, — писал потом Бочаров. — Ключевое слово, про которое мало сказать, что это слово философское, — это слово прямо религиозное, слово молитвы Господней, завещанной нам самим Христом...”)

Ученица Владимира Турбина Леонтина Мелихова примерно так же передавала своё первое впечатление от чтения книг Бахтина и личного общения с ним: “Мы привыкли при чтении литературоведческих книг перескакивать со страницы на страницу. А тут – как в поэзии, как в прозе Достоевского – нельзя пропустить ни одного слова. Читаешь – и знаешь, допустим, что в XIX веке был Жуковский. Это – оттуда... Мы мыслим иерархически. Здесь ничего подобного не было абсолютно. Ему очень нужен был каждый человек”.

Через пятнадцать минут после начала разговора Гачев обратился к Бахтину: “Михаил Михайлович, скажите, как жить, чтобы стать таким, как Вы!..”

В это время он стоял на коленках на полу, опираясь локтями о стол, – и было полное ощущение, что Гачев преклонил перед Бахтиным колени.

Видимо, в мыслях так же стояли перед Бахтиным Кожин и Бочаров.

Они видели перед собой подлинно великого человека, у которого нет ни малейшего зазора между жизнью и словом.

Бахтин сразу же расставил все точки над “и”. “Я не литературовед. Я – философ”. И тут же, уточняя, чтобы не было никаких недомолвок: “Но я не марксист. Не марксист”.

Да требовалось ли это уточнение?! В книге о Достоевском не было ни грана “марксизма”, столь привычного во всех книгах о классике.

А какая может быть первая реакция на великую личность из XIX столетия, прошедшую адские круги в XX-м, которая предлагает послушать отрывки из незаконченных сочинений, начатых три-четыре десятилетия назад и никому неизвестных?!

Энергия слова на бумаге и энергия того же философского слова, произнесённого автором... Тут остаётся лишь замереть, впитывая в себя звукомысль... Мысль сама по себе уже знакома по “Проблемам творчества Достоевского”... Но здесь она начинает играть иными красками.

Бахтин читал фрагменты из “Слова в романе”:

“Слово живёт вне себя, в своей живой направленности на предмет; если мы до конца отвлечёмся от этой направленности, то у нас в руках останется обнажённый труп слова, по которому мы ничего не сможем узнать ни о социальном положении, ни о жизненной судьбе данного слова (дальнейшие слова при публикации были выделены, и я не исключаю, что Бахтин выделял их и голосом. – С. К.). Изучать слово в нём самом, игнорируя его направленность вне себя, – так же бессмысленно, как изучать психическое переживание вне той реальности, на которую оно направлено и которую оно определяется...”

Всякий роман в его целом с точки зрения воплощённого в нём языка и языкового сознания есть гибрид... Художественный гибрид требует громадного труда: он насквозь простилизован, продуман, взвешен, дистанцирован. Этим он в корне отличается от легкомысленного, бездумного и бессистемного, часто граничащего с простой безграмотностью смешения языков у посредственных прозаиков. В таких гибридах нет сочетания выдержанных систем языка, а просто смешение элементов языков. Это не оркестровка разноречием, а в большинстве случаев просто не чистый и не обработанный прямой авторский язык.

Роман не только не освобождает от необходимости глубокого и тонкого знания литературного языка, но требует, кроме того, ещё знания и языков разноречия...”

Он говорил о слове “Роман как литературный жанр”, которое прозвучало в ИМЛИ за несколько месяцев до начала войны, о текстах “Эпос и роман”, “Проблема текста” – как работах, нуждающихся в дополнении. Говорил о предполагаемой книге “Жанры речи”... Вспоминал – совершенно отстранённо и как бы даже смеясь про себя – как его обвинили во “фрейдизме” после защиты диссертации “Рабле в истории реализма”...

Всё слышанное воспринималось, как горящее бытие.

– Михаил Михайлович! Что Вы посоветуете нам читать?

– Читайте Розанова!

“Что-о-о?! Кого-о-о?!”

“Розанов” – это была фамилия в самом начале 1960-х не то чтобы совсем непроницаемая, но насыщенная крайне отрицательными “флюидами”.

Кожин, вращавшийся в кругу литературоведов старшего поколения, изучавший и комментировавший Маяковского (в частности его “анти-антисе-

митские” стихи), проникнутый абсолютным отрицанием любого “юдофобства”, ибо усвоил в послевоенные годы, что сей народ больше всех пострадал как во время Великой войны, так и после неё (в “антикосмополитической” кампании), слышавший, что “Василий Розанов” и “антисемитизм” – это своеобразное тождество, – был поражён.

И – запомнил. Запомнил – кого надо читать.

Никому бы он не поверил так, как Бахтину.

... Они уезжали из Саранска ошеломлённые, вдохновенные, в состоянии великой радости от прикосновения к тому великому, ради чего хотелось сворачивать горы. Тянуло на новые творческие подвиги.

* * *

Вадим Кожинов – Михаилу Бахтину. 5 июля 1961 года.

“Дорогой Михаил Михайлович!

Мы всё ещё переживаем эти прекрасные два дня встречи с Вами и Еленой Александровной – так, как будто простились только вчера. Даже говорим почти исключительно об этом. Необычайно высоко ценя Ваши книги, я всё же никак не мог подозревать, насколько Вы сами больше, глубже и сильнее их. Ужасно хочется, чтобы начатые Вами работы приобрели достаточно законченную форму. У ваших, ещё не очень старых друзей есть впереди по меньшей мере лет 30–35, и, поверьте, мы будем использовать всякую возможность обнародования столь ценимых нами трудов. . .

Сегодня мне особенно хочется думать о времени – сегодня мой день рождения, 31 год. . . Какая-то выразительность есть в этой дате – 30 лет ещё молодость, а тут уже явный поворот. Между тем, я начал действительно жить лишь лет пять назад – до этого не было внутренней самостоятельности. Просто какое-то движение в потоке. Давно уже не было поколения, которое взросло бы так поздно. Но, быть может, в этом есть и положительный момент – какое-то ощущение второй молодости в том возрасте, когда обычно уже успокаиваются и начинают двигаться по нисходящей линии. Мы же всё ещё ищем, обретаем новые ценности. Вот хотя бы во время встречи с Вами, в чём-то нас изменившей. . .”

И далее Кожинов пишет Бахтину о новых знакомствах в литературном мире (как о расширяющихся горизонтах): о том, что он побывал у теряющего память Алексея Кручёных, от которого узнал о живом Моисее Альтмане; о Якове Голосовкере, “филологе и своеобразно мыслящем эстетике”, о разговорах с ним, о готовящейся к изданию его книге “Достоевский и Кант” и неопубликованной статье “Оргиазм и число” (которую, судя по всему, Кожинов читал прямо у Голосовкера). О том, что вышлет Бахтину том стихотворений и трагедий Иннокентия Анненского, вышедший в 1959 году в Большой серии “Библиотеки поэта”, и текст доклада о Достоевском голландца Схохта на IV Международном съезде славистов. . . А в конце – опять возвращается к саранской встрече:

“По правде сказать, я волнуюсь – не разочаровали ли мы Вас при ближайшем рассмотрении? Не предстали ли мы как невежды, верхогляды и люди, полные предрассудков? В оправдание могу только сказать, что мы ещё духовно молоды, и из нас ещё может выйти что-нибудь путное. Не обязательно, но может. Особенно из Гачева. Словом, если что не так – не обессудьте. . .”

Через месяц пришло ответное письмо Михаила Михайловича:

“Мы, конечно, всё время вспоминали и вспоминаем Ваше посещение. Это – одно из отраднейших событий за долгие годы моей жизни здесь. Вы не только не разочаровали меня, но, напротив, превзошли все мои ожидания. Я представлял себе Вас несколько более узкими и кабинетными людьми, ожидал встретиться и с некоторыми обычными в наше время предрассудками, и меня поразили Ваше жизненное богатство и великолепная открытость Вашего сознания. С такими качествами люди растут, не старея, и никогда не предадут своего первородства за чечевичную похлёбку. Совершенно уверен в Вашем будущем, поскольку оно будет зависеть от Вас самих.

Вы пробыли у нас всего только полтора дня, но когда вы уехали, мы почувствовали, что наш дом опустел. . .”

Далее Бахтин писал, что “только приступает” к переработке “Проблем творчества Достоевского”, набрасывал краткий план этих “переработок” и сообщал, что “от Страды (который обещал писать из Италии) и от Союза писателей никаких известий не получал...”

Галина Борисовна Пономарёва (будущий директор Государственного музея Ф. М. Достоевского в Москве), позже побывавшая у Бахтина, передавала его слова: “Знаете, как он к этим учёным отнёсся? Чуть ли не в первую встречу со мной, или во всяком случае в последующие дни после первого нашего разговора, он с удивительной весёлостью и необычайной дружелюбностью сказал о всех троих: “Они владеют двумя языками”. Надо быть в том времени, во всяком случае, хорошо чувствовать то время, чтобы понять, насколько это была оценка очень уважающего этих людей человека и очень их ценящего и уже приблизившего их к себе. Владение двумя языками – это было условие, чтобы жить в том времени и не быть управляемым официозом... И этих людей тогда нельзя было назвать даже и в этом поверхностном плане, внешнем плане жизни марксистами... И М.М. говорил о них, я бы сказала, Боже, упаси! – не со снисходительностью, хотя бы даже естественной в возрастном смысле, – нет-нет, он говорил с не то что фамильярностью, а с необычайной дружелюбностью, что ставило их буквально на одну плоскость с ним, и чувствовалось, что они его очень заинтересовали...”

В другом разговоре Галина Борисовна “уточнила” этот интерес Бахтина: встреча эта была для него очень трудным переживанием: он, давно потерявший надежду на публикацию своих произведений, наблюдая десятилетиями катастрофический упадок гуманитарной науки и философии, пришёл к выводу, что “всё уже кончено” – и оказалось, что всё опять начинается, и каково было “начинать” в его возрасте?

(Кстати, о марксизме. Английский филолог и искусствовед С. Митчелл, познакомившийся с Кожинным – которого он назвал “экзистенциалистом” – в декабре 1962 года, жаловался ему: “В Англии так трудно быть марксистом... Нас там так мало... Но... в Советском Союзе я вообще не встретил ни одного марксиста!”)

* * *

В это же время Кожиннов делал всё, чтобы ускорить “итальянское” издание.

Из письма М. М. Бахтину от 30 октября 1961 года:

“Выполняя Ваше поручение, я сразу же обратился в агентство “Международная книга”. Референт по Италии, Ольга Владимировна Полканова, заявила мне, что до неё лишь только что дошло Ваше письмо (не знаю, насколько это соответствует действительности)... Я объяснил ей всю ситуацию, и, по её словам, дело не представляет большой сложности. Вся суть собственно в том, что агентство претендует на полное посредничество между Вами и издательством Эйнауди... Главное же заключается в том, что агентство считает очень желательным определённое обновление книги... Правда, я указал на возможность простого переиздания книги 1929 года со специальным редакционным примечанием по этому поводу. И это, кажется, не вызвало возражений...”

Бахтин ответил 11 ноября:

“Дорогой Вадим Валерианович!

Благодарю Вас за письмо и за посещение Международной книги. Оно возымело надлежащее действие, и я уже получил от них сообщение о заключении договора.

Книгу свою я переделываю так, как Вам в своё время сообщал. Работа подходит к концу. Я написал нового текста около 6 печ. листов (из них больше половины о карнавальных традициях). Рукопись вышлю в “Международную книгу” к концу этого месяца”.

Но Кожиннов ни в одном из писем не упомянул о своей беседе с директором сей “Международной книги” Афанасием Змеулом, у которого он добился личного приёма.

Тот был неприятно удивлён и визитом, и просьбой – и не собирался это скрывать. Но, что называется, не на того напал.

– Простите, – вежливо осведомился визитёр. – Я вижу, Вы достаточно холодно относитесь к моему предложению, но, поверьте, совершенно напрасно: вполне может получиться вторая история с Пастернаком.

Лысоватый Змеул, внешне очень похожий на Хрущёва, побелел. Ещё несколько лет назад он делал всё возможное, чтобы остановить издание “Доктора Живаго” в Италии.

– Как это так?!

– Так, что сложилась драматическая ситуация. Итальянское издательство хочет получить эту книгу, а нам было бы выгоднее, чтобы она вышла в Москве. О самом Бахтине давно забыли (! – Кожинов намеренно сгущал краски. – С.К.), он человек, не обладающий никакой властью. А книга лежит в “Советском писателе” без всякого движения. И если она выйдет за рубежом раньше, чем у нас в стране, – будет скандал не меньший, чем с книгой Пастернака.

Это наиболее правдоподобная версия кожиновского разговора со Змеулом. Дело в том, что через много лет в других беседах Вадим Валерианович, возможно, не помня уже многих деталей, а возможно, намеренно придавая этой истории ещё более авантурный характер, говорил, что “книга уже в Италии”, хотя Бахтин продолжал работать над совершенно новым её вариантом (текст его неизвестен до сих пор). Но представить себе, чтобы Кожинов, даже с его любовью к риску, пошёл на такую откровенную ложь, едва ли возможно.

Впрочем, Змеулу вполне хватило и услышанного.

– Что же делать? – растерянно произнёс он.

Кожинов тут же достал свой текст письма в “Советский писатель” с настойчивой рекомендацией издать “Проблемы творчества Достоевского” в “Советском писателе” с тем, чтобы за границей книга печаталась по советскому изданию. И попросил оформить письмо на бланке “Международной книги”. И присовокупил в придачу:

– Вы знаете, в этом издательстве сидят сплошные бездельники. Пошли-те письмо с курьером, пусть курьер привезёт Вам ответ.

5 февраля 1962 года бахтинская рукопись была отправлена в Италию, где бесследно исчезла. А 27 марта Бахтин писал Кожинову, что камень под названием “Советский писатель” наконец сдвинулся с места.

“Дорогой Вадим Валерианович!

Получил официальное предложение от редакции “Советский писатель” о переиздании моего Достоевского и уже ответил на него согласием. Сегодня получил рецензии и редакционное заключение.

Всем этим я всецело обязан Вам и только Вам. Примите мою глубочайшую благодарность!

Сейчас я приступаю к новому пересмотру всей книги. Рукопись я хочу сдать издательству непременно до лета, так как летом Елене Александровне и мне придётся куда-нибудь поехать подлечиться. Итальянский вариант книги меня не удовлетворяет. Здесь мне снова понадобится Ваша помощь, на этот раз критическими замечаниями и советами (особенно по четвёртой главе). В ближайшее время я просмотрю и продумаю всю работу и тогда попрошу Ваших советов уже по конкретным вопросам.

Если Вы найдёте это удобным, то передайте мою благодарность В. В. Ерилову и А. А. Белкину за их прекрасные и благородные рецензии...”

По совету Кожинова “Проблемы творчества Достоевского” были переименованы в “Проблемы поэтики Достоевского”. Это, с одной стороны, могло облегчить продвижение издания, с другой – более соответствовало дополненному содержанию.

И бахтинские дополнения к книге, в курсе которых, естественно, был Кожинов, непрерывно державший руку на пульсе событий, открывали для него новые и новые глубины в постижении бытия и Слова, которое “было у Бога” и “было Бог”.

“...Трагический катарсис (в аристотелевском смысле) к Достоевскому неприменим. Тот катарсис, который завершает романы Достоевского, можно было бы – конечно, не адекватно и несколько рационалистично – выразить так: ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди...”

Тогда, в Саранске, Кожинов узнал от Бахтина о его приятельских отношениях с Фединым — они близко общались ещё в 1920-е годы. Правда, когда после ссылки Михаил Михайлович вернулся в Москву и позвонил Константину Александровичу — тот, уже ставший “комиссаром собственной безопасности”, предпочёл его не узнать... Но Кожинов сразу понял, что письмо, подписанное Первым секретарём Союза писателей СССР, безусловно ускорит издание бахтинской книги.

К Федину пробиться было практически невозможно. Главное — никто не знал, в какое время и где он находится.

И Кожинов позвонил в секретариат Союза.

Дальше начался настоящий карнавал. Утрируя немецкий акцент, Кожинов звал в телефонную трубку:

— Я дойче шрифштеллер, я Ганс Гюнтер... Когда Федин, ваш Федин жил в Дойчлянд, я хотел назвать Германий... он был мой камрад, мы очень дружили с ним... Я приехал ин Москву и хотел видеть Федин, говорить с ним... Да-да, видеть!

Секретарша поверила всему и сообщила, когда Федин вернётся к себе домой.

...Кожинов дежурил у подъезда. Подъехала машина с Фединым, тот прошёл в дом. Вадим выждал положенное время, поднялся на нужный этаж и позвонил в квартиру. Дверь открыла дочь — и Кожинов закричал прямо с порога:

— Я приехал от Михал Михалыча Бахтина! Он был дружен с Константином Александровичем!.. Он...

Федин выглянул из комнаты.

— Он жив?!

— Да, конечно...

— Входите....

Кожинов описал все трудности с прохождением книги в “Советском писателе”. И тут же в прихожей получил подпись Федина под письмом с настоятельной просьбой ускорить издание Бахтина.

Книга была уже набрана, но в печать не отправлялась: Лесючевский сделал всё, чтобы её движение было остановлено с тем, чтобы, когда пройдут все сроки, набор был рассыпан. И Кожинов снова прорвался к Федину уже на его дачу.

О том как это произошло, пусть расскажет сам Вадим Валерианович:

“Подхожу к ограде, калитка открыта, никакого звонка нет, никто не подходит, хотя на территории дачи, как мне известно, было человек 5-6 obsługi. Но пройти нельзя: через весь двор протянута проволока, к которой прицеплен огромный волкодав, контролирующий дорожку к дому. Приоткрываю калитку — собака злобно рычит... А я панически боюсь собак. По всей вероятности, это связан с тем, что (реальный факт!) мою мать, когда она была мной беременна, искусила собака... Тут, правда, здоровый пёс, но всё равно — страх! Поскольку я жил тогда неподалёку от Федина (на даче Владимира Ермилова в Переделкине. — **С. К.**), я вернулся к себе, взял велосипед, потом широко открыл фединскую калитку, отъехал подальше, разогнался и — ворвался во двор! Волкодав буквально обезумел. Он мчался за мной, но добраться до меня не мог: я отчаянно крутил педали, и ему никак не удавалось вцепиться в мою ногу зубами. Я врзался прямо в терраску, быстро взлетел на неё — это у меня всё было так рассчитано. Собака — исходит яростью и пеной, бьётся в истерике (не выполнила свою “боевую задачу”!)... Выскочили какие-то люди... И среди них, я вижу, — дочь Федина, а одновременно его хранительница и секретарь, такая крупная женщина, несколько даже мужского облика. Она меня уже знала, и я, обращаясь к ней, прохрипел: “Простите, но иначе я не мог прорваться. Решается вопрос о книге М. М. Бахтина...” — и протянул ей листки заранее составленного письма. Она вырвала у меня их из рук, а тут уже, слышу, сам Федин высунулся из окна второго этажа: “Что такое?...” Причём, точнее, это было даже два письма. Я специально заготовил на всякий случай, как двустольное ружьё, два послания — одно в издательство “Советский писатель”, а другое — в “Художественную литературу” (там шли переговоры об издании книги “Творчество Франсуа Рабле и народная

культура средневековья и Ренессанса”. — **С. К.**). Названия издательств я не обозначил, а написал только имена и отчества директоров... Боялся, знаете ли: если Федин смекнёт, что речь идёт сразу о двух книгах, то возмутится, скажет, мол, мало одной, так ещё и вторая... Поэтому я всё и “зашифровал”, будто бы ходатайство одно, но адресовано двум разным должностным лицам... И книги, конечно, тоже не назвал, а просто написал в обоих случаях: “Книга Бахтина...” Причём составлено это было в резких тонах, от имени Фебина: дескать, я уже обращался по данному поводу, но ничего не движется, а Бахтин не может ждать, он старый, больной и много испытывавший человек, вы должны ему помочь и т. д. Ну и дочь, значит, взяла эти листки, ушла. Собаку тем временем слугитель Фебина отвёл в сторону... Вскоре дочь принесла подписанные Константином Александровичем бумаги, я, весьма опасаясь волкодава, уехал на велосипеде и сразу же отправил их по адресам...”

А вот текст письма, который подписал Федин:

“С большим огорчением узнал, что издание книги М. М. Бахтина по причине перегрузки плана переносится на следующий год.

О выдающейся культурной ценности работы М. М. Бахтина мне вместе с рядом авторитетных товарищей довелось не так давно говорить в печати (23 июня 1962 года “Литературная газета” опубликовала подготовленное Кожинным письмом за подписью В. В. Виноградова, Н. М. Любимова и К. А. Фебина. — **С. К.**). Но дело не только в исключительных достоинствах книги. М. М. Бахтин человек очень пожилой и очень больной. Его работы не публиковались более тридцати лет.

Естественно пожелать, чтобы книга М. М. Бахтина шла вне очереди, в самом первом ряду. Какие-либо отсрочки в данном случае, на мой взгляд, и не рациональны, и не справедливы...”

“Вообще, тогда я уже понял одну существенную вещь, — говорил Колжин через много лет. — ...Официальные указания часто не принимали во внимание: мало ли что — кто-то мог о чём-нибудь попросить, а кто-то из чиновников по должности вроде как бы должен был отреагировать таким официальным указанием... Неизмеримо сильнее действовали личные обращения. Вот эти письма и были составлены именно так, и одна женщина, выдав себя за дальнюю родственницу Фебина, отнесла одно из них Лесючевскому. Не располагая сведениями о том, какую резолюцию наложил на письмо Лесючевский, но что интересно... дата фебинского письма точно совпадает с датой подписания книги в печать...”

Одновременно Кожин делал всё возможное для издания книги о Рабле. И сплошь и рядом, дабы добиться результата, он брал пример с героев плутовских романов, подробно описанных им самим.

(Продолжение следует)